

АРХИВ «ЛГ»

Лит. газета - 1992 - 12906 (1-4) - с. 6

«Пожелание жизни наполняющейся смыслом и свободой»

Три письма Бориса Пастернака

ПИСЬМА Б. Л. Пастернака возвращают память к тем давним временам, когда поэту шел пятьдесят девятый, автору же этих строк — двадцать первый год. Это были времена проработок. В газетах и журналах из номера в номер поносили М. М. Зощенко и Анну Ахматову, в обзорных статьях поминались имена других поэтов и прозаиков, часто — имя Пастернака. Одержимый Блоком, я читал уже «Поверх барьеров» и «Сестру мою — жизнь», не скажу — понимая, но по-своему угадывая смысл и силу этих стихов, о которых говорили: «Ну, это для избранных», «это поэзия элитарная...»

Странно вспоминать, но Есенин был тогда на сильном подозрении и почти под запретом. Блок считался декадентом, о Пастернаке же было известно, что он оторван от жизни. «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» — это стало назойливой поговоркой, словно бы Пастернак пропустил мимо ушей не только постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», но и Октябрьскую революцию и даже Рождество Христово...

Обычный в те годы вопрос: «Ну, вот ты все-таки филолог. Объясни же, что он этим хотел сказать?»

Это заставляло перечитывать стихи и думать.

*Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне...*

Зимой 1948 года в одной из центральных газет появилась большая статья, целый подвал, в которой доказывалось, что поэзия Пастернака не так уж безобидна и надмирна, как это кое-кому кажется. И приводилось финальное четверостишие из «Высокой болезни»:

*Я думал о происхождении
Века связующих тягот.
Предвестием льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.*

Я прекрасно понимал, к чему все это клонится, — ни одно из великих несчастий предвоенной поры не пощадило нашу семью. И написал Пастернаку письмо, адресованное на Союз писателей. Я помню, что письмо было коротким, помню стол, за которым оно писалось, и крошечную нашу комнатушку, и скудный тогдашний наш быт — словом, все, кроме самого письма. Да я и не надеялся, что оно найдет адресата, не ждал ответа. Тем неожиданнее был ответ, который пришел в апреле 1948 года: два конверта, и бандероль, и мой адрес, написанный окрыленным, неземным почерком Бориса Пастернака.

В бандероли была книга Шандора Петефи (ГИХЛ. М. 1948) со следующей надписью:

«Михаилу Петровичу Громову
с пожеланием счастья и жизни, все
более наполняющейся смыслом и свободой

от одного из переводчиков
Б. Пастернак

6 апр. 1948.
Москва».

В отдельном конверте — двадцать машинописных страничек с поправками от руки, вложенных, как в обложку, в согнутый пополам лист писчей бумаги, теперь уже пожелтевшей, с карандашной надписью:

«Стихи из романа в прозе
Михаилу Громову
Б. Пастернак».

Здесь «Гамлет», «Март», «На страстной», «Объяснение», «Бабье лето», «Зимняя ночь», «Рождественская звезда», «Рассвет», «Чудо», «Земля».

По-видимому, это была ранняя редакция стихов из романа «Доктор Живаго» — в печатном тексте есть поправки, иногда существенные.

6 апр. 1948 г.

Милый Михаил Петрович!

Вы меня очень обрадовали своим письмом, — спасибо Вам. Чтобы Вам отплатить чем-нибудь таким же приятным, вложу в это письмо последние мои стихи, входящие главою в мой роман в прозе, который я пишу сейчас. Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимает время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так году в 1929-м должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А. П. Чехова. Когда его сводный брат, о котором он знает только по наслышке и всю жизнь считал своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок, имеющих философский интерес, и целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго. Пусть Вас не огорчает, если они Вам покажутся бледнее моих прежних или вообще покажутся меньше, и не бойтесь дать это мне почувствовать,

*Подготовка этой публикации — последняя работа
Михаила Петровича Громова (1927—1990), филолога,
специалиста по творчеству
Чехова, доцента Московского
университета. Редакции
«Литературной газеты» она
предоставлена Л. Д. Громовой-Опульской.*

я не обижусь. Эти стихи не тайна, можете их показывать другим.

Я также постараюсь выслать Вам интереснейшего Петефи, на днях вышедшего в разных неплохих, в том числе и моих, переводах, и, может быть, тоненькую, толщиной в брошюру, книжку старых моих избранных стихотворений, выходящую в «Сов. писателе». Известите меня, пожалуйста, о получении этих вещей и письма, у меня часто многое пропадает.

Мне не на что жаловаться, я доволен жизнью, но мне хотелось бы поскорее дописать роман, хотя бы первую книгу, почти готовую, и пока это не сделано, тревога и какая-то внутренняя спешка не покидают меня. Спасибо Вам за Ваши добрые пожелания, я нуждаюсь в них.

Ваш Б. Пастернак

В моем Петефи хороша, конечно, только часть лирики, а «Янош» — ерунда, переведенная тяжело и наспех.

Это письмо, и тетрадка стихов, и книга с такой удивительной надписью... Я был студентом-третьекурсником, никто, естественно, не обращал ко мне по имени-отчеству и не говорил мне «вы». Первый здесь был Б. Л. Пастернак, и это походило на крестины. А главное — неожиданная, совершенно необычная для той жизни, которая окружала меня тогда, — скупой на радости, подозрительной и, в сущности, очень бедной — высочайшая степень душевного равенства и доверия, какой я больше не встречал. И строки, поясняющие историческую родословную Юрия Живаго, столь важные для комментария к роману, для понимания авторского замысла. И строка о враче А. П. Чехове — прошло много лет, прежде чем я, уже профессионально занимаясь Чеховым, понял ее истинный смысл...

Упоминание имени А. П. Чехова в этом письме, как и «чеховские» мотивы и образы в тексте романа, проясняют не только историческую родословную героя, но, быть может, и его имя, давнее роману заглавие. В одном из последних своих писем, посланных в Москву из Баденвейлера, Чехов писал: «Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это д-р Schweeger, женатый на нашей московской Живаго» (В. М. Соболевскому, 12 июня 1904 г.). Вполне реальная, хорошо знакомая москвичам фамилия Живаго связывала роман с чеховской Москвой, невольно и словно бы без всякого авторского участия погружая читателей в океан поэтических припоминаний, отзвуков. «Доктор Живаго» вообще отличается высокой литературностью, и уж одно это делает его книгой классической. Не просто роман, а роман со стихами, ставящий нас перед необходимостью непрерывно связывать сюжетную нить повествования с теми, быть может, не вполне и не всегда ясными нам, но томительно сильными переживаниями, которые возникают при чтении стихов. В сущности, это как раз та задача, которую решал в «Евгении Онегине» Пушкин: «Это не роман, а роман в стихах — дьявольская разница...» И Пастернак, конечно же, не только помнил это, но полагался на нашу память, подразумевая, что и мы, читатели, тоже помним классический русский роман, стихи Пушкина, прозу Чехова. В этом смысле «Доктор Живаго» скорее историческая, чем календарно-современная книга.

Да и сам календарь здесь — не обычный настенный или настольный, где каждый текущий день важнее предстоящего и тем паче минувшего, а скорее астрономический или солнечный, олицетворяющий время в его истинном — то есть историческом — масштабе, в чередовании весны, лета, осени, зимы, в листопадах и снегопадах, в дождях и метелях, выносящий действие за пределы описываемой данности, одной только личной, пусть и героической судьбы. Вне этих соотношений и отзвуков, вне этих троп в контексте, обращенных к литературной памяти читателя, к его начитанности (если таковая, конечно, наличествует) роман поневоле покажется всего лишь любовной историей, к тому же довольно банальной, в то время как истинное его содержание и главное событие — это событие непрерывно совершающейся на великих российских пространствах вселенской жизни и всеобщей судьбы.

*Теперь же сверстники поэтов,
Вся ширь про-елков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.*

Это Пастернаку было ясно задолго до

того, как появился замысел «Доктора Живаго».

В этом смысле имя «Живаго» не только символично, оно памятно. «Предсмертные письма Чехова — вот что внушило мне на днях действительный ночной ужас, — записывал весной 1916 г. А. А. Блок. — Это больше действует, чем уход Толстого».

Я не знал тогда (как и сейчас не знаю), лучше или хуже эти стихи его прежних; они казались (как и теперь) просто совсем другими, написанными в тоне героя — более просторными и открытыми, но и не столь отрешенно-личными, как те, которые я перечитывал и любил. Я писал об этом Пастернаку и, не получив ответа на два или три письма, собрался с духом и передал для него с верной оказией подборку своих стихов. Они были прочитаны и возвращены в той же синей обложке, в какой лежат в моем столе и сейчас, со следующим письмом:

Милый

Михаил Петрович!

Я испытал очень хорошее чувство по отношению к Вам, прочитав Ваше письмо и часть стихов. Вот и мое благословение Вам. Но на что, на литературную ли деятельность? Нет, шире, на серьезную и чистой своей счастливую и смелую жизнь. А там Вы сами увидите, что Вам делать.

Мне понравились стихи «Что за счастье — быть бакулиши», «Брезжил день...», перевод из Байрона (к Азгусте) и затем в «Тамерлане» очень хорошо переведена и изложена тема.

Но стихи могли бы быть много са-мобытнее и неожиданнее, и то я не стал бы ничего предсказывать и советовать. Я ничего в этом не понимаю, то есть мой взгляд на искусство, суровый и спорный, неприложим педагогически на практике.

Да это и не надо. Мои добрые пожелания Вам, любому хорошему Вашему начинанию, мое доверие к уму Вашему и сердцу — важнее и существеннее, хотя и смотрят в какую-то более неопределенную даль.

Недавно вышла хроника Шекспира «Генрих Четвертый» в моем переводе, ожидается «Лир», кроме того на днях я закончил перевод первой части Гетевского «Фауста».

При каждой очередной буче треплут и мое имя. Сейчас опять такая полоса.

Но напрасно Вы думаете, что роман мой мог бы поправить мое положение, и, желая ему успеха, допускаете его. Туда попали слон еще более глубокие и искренние, чем бывало раньше, и вывод естественный.

От души, от души Вам всего лучшего

Ваш Б. П.

18 марта 1949 г.

В ПОСЛЕДУЮЩИЕ годы, читая лекции по истории русской литературы XIX века (сначала в Таганрогском пединституте, потом на филфаке МГУ), погружаясь в мир классического русского стиха, я все яснее видел то, чего не замечал прежде: родовые истоки поэзии Пастернака словарно и даже ритмически связаны не только с теми, чьи имена прямо названы в его стихах, где есть и Лермонтов, и Пушкин, но даже с образным миром и строфикой давным-давно и, казалось бы, уже навсегда позабытых баллад. Неподражаемые ритмы «Разрыва» — «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей/ И, как лилии, атласных и властных бессильем ладоней!» — находили родовые соответствия у Жуковского, подтверждающая пушкинский закон: «талант неволен...»

Меж тем критическая литература о Б. Пастернаке была удручающе бедна. И я писал работу о стихе Пастернака, точнее говоря — о поэтической его родословной, и в последнем своем письме к нему просил суда и совета.

15 февр. 1957 г.

Дорогой

Михаил Петрович!

Пишу Вам страшно второпях, удивив подходящую минуту. Что за дикая мысль писать обо мне книгу! Оставьте, оставьте ее. Ничего, кроме неприятностей, кривотолков и недоразумений эта фантазия Вам не принесет. Я знаю, много Ваших доброжелателей отговаривают Вас от нее.

Весной Гослитиздат обещает выпустить сборник моих стихотворений разных периодов. Там будут биографические данные во вступлении.

Перед предполагаемым приездом в Москву спешите со мной и сообщите Ваш будущий московский адрес и номер телефона, если имеется, и я назначу Вам день и время встречи. Благодарю Вас за сердечное письмо.

Ваш Б. Пастернак

Разумеется, я вовсе не думал об издании книги, мне казалось важным лишь одно — чтобы Пастернак ее просмотрел. Но вокруг «Доктора Живаго» уже разгорался скандал. Шел тот оглушительный и, в сущности, совершенно обычный в российской словесности шум, с каким история нашей литературы перелистывает страницы, открывая новое имя, новую славу, новую главу.

Я думал тогда, что опоздал с книгой. В действительности я с нею поспешил: конец у нее получился иным, и писать же теперь нужно было бы совсем иначе.